

В. Соловьев



СТАРЫЯ БЫЛИ

# Всеволод Сергеевич Соловьев

## **Две жертвы** (Старые были)

Богатое воронежское поместье графа Михаила Девьера осталось без хозяйки: граф овдовел. Год спустя он привез домой молодую жену. Семейная идиллия длилась недолго: негласные дела все больше заботили мужа, в имении нашлись подземные ходы, явились странные посетители... Тайны, открытые юной хозяйкой, повергли ее в ужас.

# Содержание

I.....	.0005
II.....	.0011
III.....	.0018
IV.....	.0024
V.....	.0030
VI.....	.0036
VII.....	.0040
VIII.....	.0047
IX.....	.0053
X.....	.0060
XI.....	.0066
XII.....	.0072
XIII.....	.0080
XIV.....	.0087
XV.....	.0093

# **Вс. С. СОЛОВЬЕВЪ ДВѢ ЖЕРТВЫ**

Берега Дона в Воронежской губернии и до сих пор местами очень живописны. Кой-где и до сих пор встречаются старые густые леса, поросшие на значительных крутизнах и как бы висящие над водою. Однако таких диких и красивых мест с каждым годом становится все меньше и меньше. Леса беспощадно вырубаются, дикая и живописная красота исчезает...

Но в прежнее время, около ста лет тому назад, вековые леса стояли нетронутыми и среди них кой-где возвышались палаты тогдашних русских бар, живших в своих поместьях широкой и полной жизнью, о которой до нас доходят только легенды и смутные воспоминания.

В те далекие годы чуть ли не самым красивым помещьем в Воронежской губернии было село Высокое, принадлежавшее графу Михаилу Петровичу Девиеру. Граф Михаил был вторым сыном генерал-аншефа и действительного камергера графа Петра Антоновича и внуком Антона Девиера, одного из ино-

странцев, приютившихся в России в эпоху преобразований, женившегося на сестре все- сильного Меншикова, Анне Даниловне, бывшего полицеймейстером Петербурга, сослан- ного после кончины Екатерины I и возвра- щенного в Петербург перед самой смертью своей, в 1743 году.

Внуки Антона Девиера успели уже поза- быть свое происхождение и историю деда и бабки. Русские графы, владельцы огромных богатств, — они считали себя исконными рус- скими барами и были во второй половине XVIII века крупными представителями всех темных сторон тогдашнего барства. Сын Ан- тона Девиера еще чувствовал крепкую связь с той средою, которая выдвинула отца его. Он был еще созданием Петровского Петербурга и там совершал свою карьеру, достигая высших почестей. Но сыновья его оторвались от Пе- тербурга и молодыми офицерами пересели- лись в воронежские и харьковские поместья.

Тут они могли жить, как им хотелось, ни- чем не стесняясь; так они и жили.

Старший, граф Николай, скоро навел ужас на всех близких и дальних соседей. Он орга-

низовал целую шайку разбойников и грабил чуть ли не среди бела дня. Всей губернии была известна следующая его проделка:

Была у него соседка-старушка, барыня богатая да одинокая. Стал он покупать у нее вотчину, и сторговались они. Приезжает он к ней.

— Ты, говорит, матушка, пожалуй ко мне откушать в такой-то день, мы тогда и бумаги все напишем, и деньги я тебе, за вотчину тут же выплачу.

Приехала старушка; он ее встречает, ласковый такой, куда усадить — не знает. Напоил, накормил он ее, мелким бесом перед нею рассыпается, да и говорит:

— Так и так, мол сударыня, вотчину-то я у тебя купил, а денег заплатить у меня теперь нету.

Старушка рассердилась:

— Как так нету? зачем покупал, зачем звал к себе и заплатить обещался?

— Что делать! — отвечает он. — Пришлось неожиданно деньги выплатить — вот их и нету. Да ты не тужи, не останешься в накладе: знаешь, чай, мою посуду серебряную?

А посуда эта всем соседям была известна: блюда такие, что едва поднять можно.:

— Так вот, — говорит граф, — я всю эту посуду, как есть, отдам тебе за вотчину.

Соседка подумала, рассудила и даже обрадовалась.

— Ладно! — говорит.

Ударили они по рукам. Осмотрели потом посуду. Приказал граф уложить ее всю к старушке в кибитку. Дело было зимою, и она в кибитке на полозьях приехала. Уложили посуду, и соседка, несмотря на все уговоры хозяйина остаться переночевать, стала собираться в дорогу.

Отпустил он ее, — поехала. Ночь темная да морозная. Только барыня не боялась: кучер у нее был верный человек, детина ражий и ловкий, дорогу знал хорошо.

Пришлось им через реку Оскол переезжать; и только что спустилась кибитка с берега, как накиннулись на нее графские люди. Им было приказано посуду серебряную выбрать, а барыню с кучером и лошадьми — в прорубь.

Так оно бы все и случилось, да, по счастью,

в ту самую пору проезжал сосед со своими людьми. Отбили они старушку и добро ее.

Вздумала она жаловаться на Николая Петровича — и только время потеряла: всех он в руках держал, на всех страх нагнал — некому было жаловаться. Он продолжал свои беззакония, да еще и грозить стал соседке так, что она со страху разболелась и умерла скоро.

Второй брат, Михаил Петрович, тоже пользовался очень незавидной репутацией. Но пока о нем и о его жизни говорилось как-то глухо; его просто инстинктивно боялись соседи и в то же время с радостью собирались к нему в Высокое, где шли пиры за пирами, где было разливанное море всякого барского веселья.

Высокое, как уже сказано, расположилось по нагорному берегу Дона. Село было большое, многолюдное и стояло значительно в стороне от барской усадьбы. Усадьбу же себе граф Михаил выстроил среди густого, почти непроходимого леса, на красивом обрыве, круто нависшем над широкой, многоводной рекою.

И что это была за усадьба! Не пожалел граф на нее денег, смастерил себе истинно

царские палаты. Все строения были каменные, массивные, и если может быть и оставляли кой-чего желать в архитектурном отношении, то, по крайней мере, широко удовлетворяли барским потребностям. Комнат в доме было бесчисленное множество, коридоры, галереи, лестницы, ходы да переходы. Дом стоял на каменных сводах; стены такой толщины, что и пушками не прошибешь их. Службы, конюшни, псарня и прочие по тому времени необходимые постройки помещались на огромном мощеном дворе, обнесенном высокой каменной стеною, за которой сразу начиналась гущина леса.

Незнакомому с местностью человеку даже трудно было добраться до графской усадьбы, а доберется — словно в сказанное царство какое вступает, в заколдованный замок.

Граф Михаил еще в Петербурге, совсем почти мальчиком, лет девятнадцати, женился на богатой невесте, Софье Адамовне Олсуфьевой. Брак этот совершился по желанию родительскому и, по-видимому, носил в себе все задатки для семейного счастья. Молодая графиня, принадлежавшая к родовитому русскому дому, была прекрасно для того времени воспитана, отличалась здоровьем и красотой. В первые же два года своего замужества она родила графу двух сыновей, и казалась всем знавшим ее — олицетворением счастья и семейных добродетелей. Молодой муж тоже, по всеобщим наблюдениям, сильно любил ее.

Одно только показалось всем очень странным: вдруг он, безо всякой осязательной причины, бросил Петербург и перебрался в свое воронежское поместье, в село Высокое, где только что в то время отстроились на диво всем соседям его палаты.

Двадцатилетний подполковник, красивый, богатый и тароватый, заблистал яркой звездой среди глухого провинциального обще-

ства. Графиня, влюбленная в мужа и на все глядевшая его глазами, ничего не имела против переселения в деревню. Она обворожила соседей своей лаской и простотою.

Но так шло не долго: не кончилось и года, как неясный, постепенно усиливавшийся шепот начался на десятки и даже сотни верст кругом Высокого. Большую перемену стали замечать и в графе, и в графине.

В роскошных лесных палатах по-прежнему собиралось еще шумное общество, по-прежнему шли пированья; но это было совсем уже не то. Граф как-то разошелся с самыми почтенными и уважавшимися в той местности семействами, завел себе новую компанию, набирая ее невесть откуда. Графиня все реже и реже показывалась между гостями; все реже и реже объезжала соседок и, наконец, совсем засела за своими каменными стенами.

Прошел еще год, начался третий, и шепот окрестных жителей превратился в ропот. Впрочем, открыто и ясно никто ничего не говорил: богатство и столичные связи графа заставляли всех прикусить язык вовремя. Да и

никаких определенных обвинений еще ни у кого не было, передавалось только на ухо друг другу, что молодой граф ведет разгульную жизнь, что он очень падок до женщин, и в Высоком завелось не мало всяких соблазнов, что графиня очень несчастна в супружестве.

Жалели графиню, в особенности женщины, охали да ахали, но дальше не шли. Многим смертельно хотелось пробраться в Высокое, разглядеть и разузнать все поближе, однако, этого не удавалось ни одной из соседок-помещиц. Графиня никого не принимала. Судили, рядили, толковали, рассказывали небылицы, но, наконец, это надоело; нашлись новые сплетни, новые интересы, и графиня Девиер была позабыта.

Вскоре, однако, ее имя оказалось опять у всех на устах, и случилось это самым неожиданным и печальным образом. Из Высокого пришло известие, что графиня Софья Адамовна скончалась...

Как так? каким образом? от какой болезни? Она была так молода, пользовалась таким цветущим здоровьем! Что таится под

этой ранней, внезапной кончиной?!.. Быть может, преступление!..

— Наверное, это он, злодей, извел ее! — если и не подсыпал зелья, так извел дурным обращением, обидами, пожалуй, побоями... От такого изверга все станется...

— Вон, ведь, у него там, ровно у салтана турецкого, гарем целый, бесстыжих девок со всех сторон нагнано, камедь представляют, пляшут перед пьяной компанией... Срамота такая, что и слушать то уши вянут!..

— Так, так!.. верно это... и уж где же ей, голубушке, в страхе Божиим воспитанной, да и любившей его, изверга, такое было вынести?!..

Так рассуждали соседи и соседки. Но большинство было того мнения, что граф просто-напросто чего-нибудь ей подсыпал.

— Ведь, у нее там, в Питере, родных много, люди большие, с весом. Вынося такое мучение и бесчестие, она всегда могла найти способ снестись с этими родными, те бы ее выручили, вырвали бы из этого омута. А подсыпал — и кончено. Скончалась и — нет улик. Теперь он свободен, будет жить как знает, без

помехи. Деточек вот больно жаль, двое маленьких мальчиков осталось; что с ними станется при таком отце?!..

Но подсыпал или не подсыпал, были ли эти рассуждения просто клеветою, на которую так падки языки людские, или граф Михаил Петрович, действительно, оказывался причем нибудь в смерти жены, — она умерла, и соседи-помещики получили приглашение на ее похороны.

Похороны графини Девиер были обставлены такою пышностью, какую еще никто и никогда не видал в тех местах. Сам граф казался опечаленным, вел себя с большим достоинством и не замечал или делал вид, что не замечает шепота, косых взглядов, перемигиваний. Слышали даже, как он просто и естественно жаловался, что вот, мол, в таких молодых летах остался без хозяйки и подруги с двумя младенцами-сиротами.

Кинулись соседи, а главным образом, соседки, взглянуть на покойницу.

— Какова-то она, сердечная, давно, ведь, никто не видал ее — чай и не узнаешь!..

Но и теперь не пришлось увидеть. Близкие

к графу люди толковали, что ему все не верилось, точно ли умерла она, не обморок ли с нею такой долгий приключился, все ждал он: быть может, очнется и встанет, примеры тому не раз бывали.

— И точно, — рассказывали эти люди, неведомо откуда взявшиеся, никому из соседей неизвестные, — четыре дня лежала в гробу графиня, будто уснувшая, ничуть не изменилась, а на пятое утро за ночь почернела вся, распухла и дух от нее такой пошел, что вынести было невозможно, так вот и пришлось заколотить крышку гроба...

Многие качали головами, подозрительно переглядывались, и решились исследовать поближе справедливость рассказа. Но под конец все же приходилось поневоле допустить возможность сообщенного, тем более, что крышка гроба была не совсем плотно заколочена и из маленькой щели на несколько шагов кругом ощущался сильный запах разложения. Однако, некоторые все же никак не могли успокоиться, шептали:

— Может, изуродована вся, бедная, так что и лика человеческого на ней нету, вот и зако-

лотили крышку. А что попортилась, так тут нет ничего мудреного: нарочно, видно, пять день продержали!..

Но духовенство не возвышало голоса; все было соблюдено, как следует, придраться ни к чему нельзя было и пришлось помалкивать... Похоронили молодую графиню, посудили, порядили и каждый занялся своими делами.

Девьер скоро уехал к брату, прожил у него несколько месяцев, потом возвратился ненадолго в Высокое, потом опять уехал. Куда он ездил, что делал — никому не было известно. Двое маленьких его сыновей выростали за крепкими стенами, под надзором целого шта-та нянек. Из посторонних никто к ним не допускался.

Уже больше году прошло со смерти графини. Молодой двадцатилетний вдовец в одну из своих поездок, цель которых для всех по-прежнему оставалась тайной, очутился в Полтаве. Он был страстный любитель лошадей. В Полтаве ему очень приглянулись два кровных жеребца, принадлежавших Григорию Ивановичу Горленке, Прилуцкого полка подкоморному.

Горленко был человек богатый, родовитый малоросс, имевший прекрасные поместья в Полтавской губернии и временно проживавший тогда с семьей своей в Полтаве. Заслал к нему Девиер узнать, не продаст ли он ему жеребцов. Горленко объявил, что жеребцы непродажные. Но у графа Михаила коли загорится что, он уж не отстанет. Отправился он сам к Григорию Ивановичу со всякими любезностями, обворожил его совсем, уговорил продать коней, и таким образом завязалось знакомство.

У Горленки оказалась семнадцатилетняя дочка, Анна Григорьевна, писаная красавица.

Сразу она приглянулась молодому вдовцу. Только о ней он и думал после первого свидания. И зачастил он к Горленкам. Анна Григорьевна была совсем еще ребенок, выросла в деревне, людей не видала, распевала как пташка вольная, выдумывала себе детские игры и забавы, и не ведала, не примечала, что расцвела красота ее девичья, не задумывалась еще о своем суженом, о своей женской доле. Граф Девиер был первый мужчина, привлечший к себе ее внимание. Недели в две он сумел очаровать ее родителей, от которых, конечно, не могло ускользнуть впечатление, произведенное на него их дочерью.

— Вот так жених, — думали и толковали между собою старые Горленки, — лучше нам не сыскать для нашей Ганнуси. Одно не ладно, что вдовец он и двое детей у него, а Ганнуса еще и сама дитя неразумное!.. Ну, да уж знать такова воля Божья, — от судьбы своей не уйдешь... Посмотрим, поглядим, там видно будет. А не принимать такого важного человека нельзя. Нельзя ему не показывать внимания. Да и хлопец он куда какой хороший!..

Замечали старые Горленки, что с появле-

нием Девиера и Ганнуса их словно другая стала, на себя непохожа. То задумчива, молчалива, слова от нее не добиться, то вдруг радость ее такая охватит, поет, смеется, до слез смеется! И румянец рдеет, разгорается на щеках ее, и глаза сверкают...

Да, Ганнуса в несколько дней стала другая; в несколько дней ушло не возвратно куда-то ее детство и счастливая беспечность. Сама она не понимала, что творится с нею; но уж понимала, что всему виною этот ласковый и страшный красавец, который к ним повадился, который заморозил ее и мучает ее душу, и днем и ночью мучает. С первой минуты как появился, с первой минуты как она встрети-лась с его смелым, жгучим и властным взглядом, она почувствовала и трепет, и муку, и сладкую истому. Она почувствовала, что этот человек имеет над нею власть и что она бессильна перед его властью, что она должна ему подчиниться волей или неволей, без размышлений... что хочет он, то с нею и сделает...

И он сам отлично понимал это. Не долго тянул он, меньше двух недель бывал у них в

доме, и вот раз наехал рано утром. Самого Горленки не было дома, да и старуха тоже пошла к обедне. Ганнуся провела ночь бессонную, тревожную и сказала нездоровой, будто предчувствовала, что должна остаться.

Время было весеннее, теплынь стояла. Вышла Ганнуся в садик; деревья уже опушились свежей зеленью, уже распустившаяся сирень наполняла садик своим сладким, пряным запахом, а между ветвей древесных звонко и немолчно перекликались веселые птицы. Ганнуся побродила по узким тропинкам и в неге какой-то и истоме упала на сочную траву, в тени старой липы и замерла, задумалась.

Она слышала как стучит ее сердце, она чувствовала как кровь то приливает к лицу, то отливает. Она ждала чего-то, ждала вопрошительно, с мучением и тревогой.

И дождалась.

Вот он перед нею — ее властелин, ее мучитель. Что он несет ей: смерть или жизнь?

Она приподнялась, слабо вскрикнула, боязливо взглянула на него, вспыхнула вся румянцем, опустила глаза и схватилась за серд-

це... А он стоял и любовался ее красотой и смущением. Да, она была хороша! Черная густая коса, вся переплетенная цветными лентами, блестела как мягкий шелк. Длинные опущенные ресницы бросали тени на горячий румянец нежных, смуглых щек. Влажные пунцовые губы красивого рта были полуоткрыты, и из-за них виднелся ряд ровных, мелких и белых зубов. Крепкая молодая грудь высоко дышала. Она была хороша, как только может быть хороша на воле выросшая дочь Украины, которую впервые коснулось дуновение страсти.

Долго любовался ею граф Михаил. Наконец, он склонился на траву рядом с нею, взял ее обессиленные, похолодевшие руки, крепко сжал их, и сказал своим властным голосом:

— Ганнуса, я люблю тебя, ты будешь моею!

Он не спросил ее — любит ли она его, хочет ли она принадлежать ему. Он сказал только: «Ты будешь моею». Ему незачем было ее спрашивать; он знал, что она в его власти.

Она еще раз слабо вскрикнула, слезы брызнули из глубоких, темных глаз ее, и она без сил, без воли упала в его объятия. И он цело-

вал ее, жег и томил ее своими поцелуями.

Над ними раздался голос старого Горленки:

— Что же это, граф? Разве так делают добрые люди? За что ты позоришь мою дочку?!

Граф Михаил очнулся и объяснил, что позора нет никакого, что он любит Анну Григорьевну, и будет счастлив назвать ее своей женою.

— Прости, Григорий Иванович, что тебя вперед не спросился, затем к тебе и ехал. Да сказали — тебя нету, остался поджидать, вышел в садик, а тут сама Анна Григорьевна... Ну, и... прости... не стерпел, собой не владею! Благословляешь, что ли, Григорий Иванович?!

Горленко стоял и качал головою.

— Что уж, — вымолвил он, наконец, — не ладно так-то, да Бог с тобою, бери Ганнусю и будьте счастливы...

## IV

Свадьбой не стали мешкать.

Ганнуся была как в тумане и сама не могла решить, чего в ней больше: радости и счастья, или тоски и страха. Она стояла перед неизвестной будущностью, о которой до того времени никогда не думала. Она переживала быстрое превращение из ребенка в женщину.

Жених с большим трудом и неохотой подчиняла требованиям приличия и исконных обычаев; ему хотелось бы ни на минуту не отпустить от себя невесту. В первые дни он изумлял, смущал и страшил ее своими страстными порывами. Но вот мало-помалу она стала понимать его, он успел и в ней зажечь пламя страсти, которое разгоралось с каждой минутой...

Утомительный день свадьбы, наконец, прошел.

Молодые переночевали в доме Горленки, и на следующее же утро им подана была огромная, неуклюжая, но отлично приспособленная к дальнему путешествию колымага, в которой они и тронулись в путь, в неведомые

Ганнусе страны.

Окрестности Высокого огласились неожиданным слухом: в графских палатах новая хозяйка, новая графиня. Узнали, кто она, откуда, а между тем никто еще не видал ее. Объедет ли она семейные дома по соседству, получатся ли приглашения в Высокое? Прошло два-три месяца — приглашений нет, графиня нигде не бывала. Новая пицца для разных догадок.

«Прячет жену! И этой скоро не станет... разве ему надолго! Вернется опять к своим плясуньям: они и теперь, говорят, все там же, в Высоком, только на время переведены в дальний флигель...»

Графиня, действительно, все лето не выезжала из-за каменной ограды, из заколдованного замка. Но это происходило не оттого, что муж деспотически к ней относился и запирали ее. Нет, она сама никуда не хотела, ей ничего не нужно, лишь бы с нею был он, ее властелин, ее сокровище, ее счастье. Она уж больше не боялась его, и ее прежние, неясные страхи казались ей смешными, ребяческими.

Его бояться! Он дал ей такое блаженство, он превратил ее жизнь в такой нескончае-

мый сладкий сон. Как он ее любит, как он ласков, весел! День начинается, день кончается — и не видишь как идет время; одна мысль, одно желанье, — чтобы так всегда продолжалось, чтобы никогда, до самой смерти, не прерывался этот чудный сон.

Они почти всегда вместе; только раза два в неделю отлучается граф куда-то на несколько часов. Куда? Она было и спросила его; но он ответил ей только одним словом: «нужно». И она не интересовалась больше. Она знала, что действительно, видно, нужно, если он ее оставляет.

Тогда она вся отдавалась его детям, двум милым мальчишкам, которых полюбила сердечно, будто они были ее собственные дети. Она забавлялась с ними, ласкала их и баловала, наряжала, как кукол. Он ей в этом не перечил, он и сам был, по-видимому, нежным отцом, и несколько раз говорил ей:

— Как я счастлив, что ты их любишь! Мне так тяжело было, что они без матери. Да и сам я должен был отлучаться надолго из дому... и потом это не мужское дело ребят растить. Спасибо тебе, будь им родной матерью!

Просить ее об этом было нечего. Она была так молода, так добра; она еще не знала, что такое горе, что такое злоба; она жила полной и счастливой жизнью. И в таком состоянии она, конечно, никому не могла дать ничего, кроме ласки, любви и участия. Она всегда любила детей, а уж его-то детей — как ей не любить их... И вдобавок оба они на него похожи...

Проходило лето, наступала осень; но жизнь Ганнуси не изменялась: туман счастья все еще стоял вокруг нее. И сквозь этот тумане она многого не замечала. Не замечала она, что в их огромном доме как-то все не совсем по-людски. Да и сам дом этот какой-то странный. Она до сих пор не могла изучить его и путалась в коридорах и переходах. Прислуги видимо-невидимо, и все мелькают словно тени, все молчаливы, сумрачны, ни от кого не добьешься живого слова.

В доме по временам появляются неведомо откуда какие-то странные, таинственные люди. Никого из них граф и не знакомит с молодой женою. Наедут эти странные люди, запретя с ними граф, толкует о чем-то, потом уедут вместе.

Странно! Но какое же ей дело до всего этого? И верно так нужно...

В начале осени она почувствовала, что будет матерью, и чуть с ума не сошла от радости. Но, к ее величайшему изумлению, граф вовсе не так обрадовался, как она этого ожидала.

— Да что же ты, неужто не рад?! Пойми, у нас будет ребенок! наш ребенок! Пойми, какое счастье! Ты молчишь?! Отчего ты глядишь так странно?! Ах, Боже мой, я понимаю: ты, может, думаешь, что от этого я буду меньше любить Володю и Мишу?! Как тебе не стыдно! на всех моей любви хватит... я только стану еще счастливее!..

— Да я рад, я рад, — отвечал граф Михаил, — только я невольно думаю о твоём здоровье... Ты так еще молода!..

Но она его не понимала, она ничего не боялась. Она восторженно целовала его и от него бежала к детям, и их целовала, и смеялась, и сияла своей южной, горячей красотой, которая пышно развернулась за эти блаженные месяцы.

А вокруг нее, вокруг этого счастливого лу-

чезарного создания, все было так мрачно, так уныло и таинственно. Вековые деревья роняли свои желтеющие листья. Осенний ветер стучался в окна. Потемнели и глухо ворчали волны Дона. Тишина стояла в огромном мрачном доме, и только по каменным коридорам гулко раздавались шаги молчаливой, подозрительно глядящей прислуги.

Прошло еще несколько месяцев. По-видимому не было никакой перемены, только граф верно или сам услышал где нибудь, или ему передали о неблагоприятных толках между соседями. Он уговорил жену объездить с ним некоторые из самых почетных семейств. Она, конечно, согласилась — его слово было для нее законом.

Но эти новые знакомства не доставляли ей никакого удовольствия. Она была так далека от интересов, которыми жило это общество; она вся ушла в свою внутреннюю жизнь, в свое счастье. Какое ей было дело до чужой жизни, до пересудов и сплетен.

Однако, ее природная доброта и ласковость заставили ее ко всем отнестись как можно милее и любезнее. Ее сверкающая красота и молодость тоже должны были говорить в ее пользу, должны были всех сразу расположить к ней.

А между тем, несмотря на всю свою рассеянность, она не могла не заметить странность в обхождении с нею. Ее принимали с

большим почетом, не знали, куда усадить, чем угостить, но в то же время с нею всем было как-то особенно неловко. Она подметила несколько странных, непонятных взглядов, расслышала несколько, шепотом произнесенных, фраз, очевидно, относившихся к ней и выражавших не то какой-то ужас, не то сожаление.

Чему ужасаться? Кого сожалеть? Что все это значит?

Но, может быть, ей только показалось. Во всяком случае, она скоро позабыла и эти взгляды, и этот шепот.

Она приглашала новых знакомых к себе в Высокое, извинялась и придумывала предлоги, объясняя, почему до сих пор не сделала этого.

Ее приглашениями поспешили воспользоваться. В мрачный лесной дом несколько раз наезжали гости, несколько пиров задал граф Михаил. И пиры эти отличались прежним великолепием, но веселья не было. Да и сама молодая хозяйка сильно скучала: «Зачем все это? К чему этот шум, эта толкотня и хлопоты?»

Ей было жаль прежнего уединения. Она боялась, что эти люди своим говором, своим присутствием разрушат блаженное очарование, в котором она так долго находилась.

И она была права, — очарование начинало разрушаться, туман мало-помалу рассеивался.

Как это случилось? когда? в чем собственно состояла перемена? По-видимому, все было по-старому. Граф так же любил, так же ласкал ее, а между тем прежней жизни не стало. Ей не хотелось уже, как прежде, целый день смеяться или плакать от счастья. На нее напала не то тоска, не то задумчивость. Она часто думала о том, что ее ожидает. Скоро она будет матерью. Мысль эта, доставлявшая ей в первое время такую радость, теперь как будто иногда даже пугала ее. Граф не раз заставлял ее, после своих несколько участившихся отлучек, в слезах, с опущенной головою.

— Милая, что с тобой? — спрашивал он, беря ее за руки и нежно целуя.

— Ничего, так, взгрустнулось! — отвечала она. — Где ты был? Ты так часто теперь уезжаешь из дому, я тебя совсем почти не вижу!

Она преувеличивала, она упрекала.

Он морщился и опять ссылался на обязанности.

Но, наконец, эти упреки стали раздражать его; он вдруг заговорил с ней таким тоном, какого она прежде от него никогда не слыхала.

— Неужели ты думаешь, — говорил он, — что можно всю жизнь прожить, целуясь и не отходя друг от друга? И потом — твои слезы, твои упреки?.. Знай раз навсегда, — я не люблю ни слез, ни упреков. Я люблю смех, улыбки, я полюбил тебя за твою улыбку, она так идет к тебе. Посмотри!..

Он поднес к ней зеркало.

— Да посмотри же на себя: на что ты стала похожа?

Она видела в стекле свои заплаканные глаза, свое побледневшее лицо, которое от слез, от бледности было еще прелестнее, перед которым должно было стихнуть всякое раздражение. Но он продолжал:

— Я не люблю таких лиц. Слезы тебя не красят, слезливая женщина... да, ведь, хуже этого быть ничего не может! Смотри, берегись, Ганнуся, очнись вовремя, не то тебе и

впрямь придется заплакать!!

«Что это? Он уже грозит ей!»

Да, в его голосе вдруг прозвучало что-то, что-то злое, холодное, страшное!

Она с ужасом взглянула на него.

«Он ли это? Он ли ее милый, ее добрый и ласковый!?»

Прежний, совсем было забытый страх ее к нему вдруг снова хватил ее за душу. Но это было одно мгновение. Он, по-видимому, понял, что зашел немного далеко, и успокоил ее ласковым словом и поцелуями. И она улыбнулась ему, засмеялась и прогнала свою тоску, свои неясные страхи.

Однако, ненадолго. Прошел день-другой — и опять беспокойна Ганнуся.

— Да что же это с тобой, наконец, стало? — говорил ей муж.

— Сама не знаю, милый, сама понять не могу что со мною. Но только иной раз так мне тяжело, мне кажется, что я умру скоро...

— Ну, знаешь ли, наконец-то я понял! это так, причуды, это бывает в твоём положении... Подожди вот немного — и все пройдет, и все как рукой снимет...

Ждать приходилось недолго: у Ганнуси скоро родился здоровый мальчик. Новая жизнь началась для нее, новое чувство вспыхнуло в ней и охватило ее разом. Она опять повеселела, она не могла наглядеться на своего ребенка.

И граф был очень доволен; он уж не слышал упреков. Он мог теперь, не стесняясь, уезжать из дому и долго не возвращаться: она так занята своим сыном, она почти не отходит от его колыбели.

Но он заблуждался. Новое чувство, как ни велико было оно, не отняло места у старого чувства в сердце Ганнуси. Она очень скоро заметила эти непривычные, долгие отлучки. Более того, она стала замечать многое, чего прежде совсем не замечала. Она начинала наблюдать, прислушиваться. Она сама еще не знала, что наблюдает и к чему прислушивается; но уже вся была настороже, вся в тревоге.

## VI

Она вдруг возненавидела этот странный мрачный дом, еще так недавно казавшийся ей заколдованным замком, полным самых прелестных и светлых видений. И в то же время ей захотелось, наконец, ознакомиться, как следует, с этим домом, обойти все закоулки.

Во время отсутствия мужа, когда ее новорожденный ребенок засыпал, а старшие дети весело играли с няньками, она начинала свои исследования. Она бродила по длинным коридорам, отворяла все двери, всюду заглядывала. Но многие двери оказались запертыми на крепкие замки. Она звала прислугу, спрашивала, что тут такое? Ей отвечали, что тут кладовые, или ходы на обширные чердаки или ходы в погреба.

— Отворите, я хочу взглянуть.

Но отворить было невозможно: ключи у его сиятельства. Муж возвращался. Она обращалась к нему с просьбой показать ей и кладовые, и чердаки, и погреба, и подвалы. Он удивлялся, зачем ей это, что там интересного.

— В погреба-то я тебя не пущу, ни за что не пущу, как ты там хочешь. Смотреть в них совсем нечего. Старые бочки с вином для тебя не могут быть интересными, а сырость такая, что того и жди разболеешься. Ох, уж этот мне дом! кажется, и хорошо построен, а видно все же какая-нибудь ошибка, или это донская вода действует, что сырость такая завелась в подвалах и погребах!..

— А все же-таки мне хотелось бы взглянуть. Пойдем, пожалуйста, покажи. А то, что же это: хозяйка я, и не знаю устройства нашего дома.

Граф качал головою и улыбался.

— Ну, а до сих пор-то что же не справлялась? Ишь, ведь, когда спохватилась! Да пойдем, пожалуй, коли уж тебе такая охота. В подвалы и погреба, сказал, не сведу, а кладовые и чердаки осмотрим; это можно...

И они отправлялись несколько раз все осматривать. Граф приказывал принести фонарь, сам отпирал двери. Крепкие замки звучно щелкали; потом раздавался скрип железных засовов. Тяжелые, дубовые двери распахивались — и мгновенно охватывал графич-

ню сырой, затхлый воздух. Свет фонаря озарял обширные помещения, в которых хранилось много всякого добра.

Ганнуся все разглядывала и изумлялась. Чего только не было в этих кладовых и на этих чердаках! Тут и меха дорогие, и вещи серебряные, и много всякой всячины, и все-то такое красивое, дорогое...

— Милый мой, — говорила она, — так вот ты что тут под замками держишь, вот что от меня скрываешь! Не знала я, что ты такой скупой да жадный. Вот, ведь, чтобы жене хороший подарок сделать, а он под запором все держит!

Граф начинал смеяться, так непринужденно и весело отшучивался; но в то же время поспешно выбирал какую-нибудь ценную вещь и дарил ее жене.

— На вот... на, отвяжись только, да отпусти душу на покаяние. Ну, чего мы тут стоим! Уйдем, пожалуйста, а то у меня уже першить в горле начинает.

Они выходили. И опять с визгом захлопывались дубовые двери, и опять щелкали замки.

Ганнуса несл к себе новый подарок. Муж шутил и смеялся; а на сердце у нее все же было как-то беспокойно. Все ей казалось, что вокруг нее есть какая-то тайна, какая-то мучительная, страшная тайна, что от нее все что-то скрывают, а главное — он, он от нее что-то скрывает...

## VII

Опять лето было в полном разгаре; но уже не прежнее лето. Ни о чем прежнем не было и помину. Граф уезжал из дому иногда дня на два, на три. Завелись у него дела какие-то, по крайней мере, на вопрос жены он всегда отвечал односложно:

— Дела, дела!!

Прежде она удовлетворялась такими ответами; теперь она и хотела бы расспросить подробно, да уже знала, что с мужем не сладишь; что коли он раз замолчал, так уж ничего от него не добьешься.

— Какие дела?! Ишь ты, бабье любопытство! Ну что ты в нашем мужском деле смыслишь! Еду — значит, нужно ехать. Вернусь, как только все справлю, привезу тебе обновку, а ты жди меня, за детьми присматривай, да встретить меня веселей: так-то вот и ладно будет!

Он целовал, обнимал ее. Но ей казалось, что это уже не прежние поцелуи и ласки.

Он уезжал. Она оставалась одна со своею думой, со своими неясными подозрениями.

Она часто сходила с высокой террасы дома и бродила по густому парку, доходившему до самого крутого донского берега. Этот парк влек ее теперь к себе неудержимо. Она любила его тень, его прохладу, его извилистые дорожки. Ей казалось, что здесь, именно в этом парке, какой-нибудь неожиданный голос откроет ей непонятную тайну, лишившую ее покоя. Но пока еще не прозвучал этот голос, она бродила погруженная в свои мысли и тревожные грезы. Бродила иногда, не сознавая где она, куда идет и сколько времени продолжается ее прогулка.

В особенности она любила этот парк вечером после солнечного заката, когда последние отблески зари постепенно бледнели на верхушках деревьев, когда мало-помалу в темнеющей синеве небесной загорались одна за другой частые звезды и вдруг выбравшийся из-за леса полный месяц озарял все своим тихим светом и менял очертания предметов.

Тогда Ганнуся выходила на широкую аллею, по которой все ярче и ярче ложились серебряные полосы, и спешила дальше и дальше, к маленькой каменной беседке, выстро-

енной на уступе высокого берега.

Отсюда перед нею открывалась широкая картина. У самых ног тихий Дон катил свои волны, едва слышно плескавшиеся о берег. Дальше, на луговой стороне, мелькали, покрытые легким туманом, безбрежные поля, однообразие которых кой-где нарушалось далекими деревеньками и полосками лесов.

Ганнуся садилась на каменную скамью беседки и отдавалась очарованию влажной ночи, и подолгу, подолгу глядела на звезды, глядела в туманную даль и мечтала и плакала о неведомо почему потерянном счастье, и отгоняла страшные грезы о непонятных грядущих бедах.

Но эти грезы не уходили. С каждым днем в ней крепла уверенность, что над нею должно стрястись что-то ужасное. И она верила в это предчувствие души своей, и ждала с сердечным замиранием рокового удара.

Очнется она на мгновение, отгонит мрачные грезы, и сама на себя дивится: «Да что же это такое? Из-за чего я так мучаюсь? Чего я жду? Откуда взялось все это? Уж не больна ли я? Чего мне бояться...и кого же бояться? —

его? — Ведь, это грех тяжкий, грех мой перед ним. Это искушение, это наваждение дьявольское!..»

Она твердо решалась победить в себе глупые страхи и быть по прежнему счастливой и довольной. Но этой решимости хватало не надолго. Странное предчувствие не покидало ее, и бороться с ним она не была в силах.

И вот, в один из таких теплых и лунных вечеров, сидела она в беседке, погруженная в полузабытье, и не замечала как шло время, как приближался час поздний. Ей некуда было торопиться: дети спали, муж с утра уехал и сказал, что не вернется дня два, а, может, и больше. Сидела она окруженная тишиною и даже дремота начинала ее охватывать, как вдруг странные и неожиданные звуки заставили ее очнуться. Она вздрогнула, поднялась с каменной скамьи и стала чутко прислушиваться.

Что это? Под землю, под самой беседкой, идет какой-то гул, будто раскаты грома. А потом еще страннее, еще непонятнее, будто где-то ржат кони. Но никогда еще в жизни не слыхала она такого гулкового ржанья.

Она оглядывалась во все стороны. Кругом было достаточно светло от лунного сияния, — ничего особенного не было видно. Знакомые кусты стояли неподвижно. Внизу тихо плескались серебристые волны. На противоположном берегу тоже ни малейшего движения — вся природа спала.

Между тем странные звуки, и топот, и ржанье слышались все сильнее. Вот они еще и еще слышнее. Подземный гул вдруг замер и сменился более ясными звуками. Теперь уже не может быть никакого сомнения, слышится тихий говор человеческих голосов, ржанье лошадей. Под самой беседкой плеснула вода.

Уф!!

Что-то грузное будто упало в реку и поплыло.

Ганнуса прижалась к каменной колонне, слегка наклонилась над высокими перилами, взглянула вниз и увидала в воде плывущую лошадь, вот еще другая, третья, десяток, больше десятка лошадей. Несколько человек конюхов купают их и моют, тихо переговариваясь между собою.

Она спряталась за колонну и ждала. Более

получаса слышался людской говор, храп и ржанье лошадей. Затем эти звуки опять сменились другими, то есть перешли с чистого воздуха под гулкие подземные своды.

Ганнуся вышла из беседки и направилась к дому полная недоумения: «Здесь подземный ход, целая галерея, через которую можно выводить лошадей к реке, а я не знала этого, никогда о том не слыхала, муж никогда ничего не говорил... И потом эти лошади? Какие это лошади?!»

Она очень любила лошадей и знала всех, бывших у них на конюшнях.

«Это не наши кони, — с изумлением думала она, — я их хорошо разглядела. И потом, сколько их! Как много! Что все это значит!?»

Ей стало так тяжело, так тоскливо.

«Вот... начинается! — подумала она. — Тут тайна какая-то и все это неспроста!»

Но как же узнать ей, что это значит?! Спросить мужа, спросить прислугу; но, ведь, если это тайна, никто ничего не скажет... скроют истину, только будут следить за нею, только помешают ей добраться до правды. Нет, она ни у кого ничего не спросит. Она ни слова не

скажет мужу ни про коней этих, ни про подземную галерею. Она только будет наблюдать, будет искать...

## VIII

Она решилась молчать и осторожно следить, а между тем за нею самой уже следили. Но это был не муж и не приставленный им шпион.

В то время, как она, счастливая и отуманенная первой страстной любовью, приехала в Высокое и увидела своих маленьких пасынков, она заметила в числе их няnek старушку, которую называли Петровной. Обратила она на нее внимание потому, что эта Петровна была очень стара, очень безобразна и в то же время в ее сморщенном, обвисшем лице светилось присутствие чего-то особенного. Маленькие черные глаза, несмотря на дряхлость и, вероятно, очень большие годы старухи, глядели так зорко, так живо и останавливались на молодой новой хозяйке с пытливym вопросом.

Старушка постоянно жевала беззубым ртом и что-то шептала сама с собою. Но что — разобрать было невозможно. При этом Ганнуся заметила, что Петровна особенно нежно обращается с детьми и что дети ее любят бо-

лее чем других нянек.

Через месяц-другой вдруг оказалось, что Петровны уже нет в детских комнатах.

— Где она? — спросила Ганнуса.

Ей ответили, что Петровна захворала.

Она стала о ней наведываться. Петровна выздоровела, а все же ее нет в детских. Графиня спросила мужа, отчего нет Петровны. Он ответил, что она очень стара, что ей пора на покой.

Она не стала больше расспрашивать и скоро почти забыла Петровну: не до того ей тогда было.

Между тем, старушка время от времени попадалась ей на глаза в каком-нибудь дальнем коридоре огромного дома или во дворе.

— Как поживаешь, Петровна, здорова ли? — ласково спрашивала она.

Старушка низко кланялась, жевала губами и шамкала.

— Спасибо, сударыня, спасибо на ласковом слове, живу вот, таскаю ноги, жду не дождусь, когда Господь приберет меня...

— И, что ты, полно, зачем умирать, поживешь еще! — с тихой улыбкой говорила Ган-

нуса и проходила мимо.

А старушка долго еще стояла на месте, глядела ей вслед своими черными, живыми глазками, — все с тем же вопросительным выражением, и шептала что-то бледными, сморщенными губами.

В самое последнее время Ганнуса почему-то все чаще и чаще встречалась с Петровной. Не раз замечала она ее и в парке, во время своих уединенных прогулок: бродит себе старушка, шепчет, жует, поглядывает. И вот уже несколько раз показалось графине, что старушка как-будто даже ей что-то сказать хочет.

— Не надо ли тебе чего, Петровна? не обидел ли тебя кто? — как-то спросила она ее. — Скажи, не бойся.

— Нет, сударыня, нет. Кто меня обидит, чего мне, старой, нужно, — ничего не нужно!

А сама глядит пристально и вопросительно.

Даже жутко стало Ганнусе, и она начала избегать встреч с нею. А та как нарочно чуть не каждый день на глаза попадается.

Вот и теперь, в то время как Ганнуса, сму-

ценная и тоскливая, спешила от каменной беседки вдоль по ярко озаренной луною аллее, из темноты древесных веток мелькнула и стала перед нею эта странная старушка. Она даже вздрогнула от неожиданности и испуга, и чуть не вскрикнула.

Старушка остановилась, низко кланяется, а потом взяла да и пошла рядом с нею. Та спешит, а за нею и старушка поспевает.

— Чего тебе надо, Петровна? Зачем не спишь, — уж поздно.

А голос дрожит: что-то она ответит, неспроста, неспроста это!

— Слышала лошадок, сударушка? — প্রশামকالا вдруг старуха.

— Слышала, — упавшим голосом ответила Ганнуся.

— Подземные лошадки, из-под земли выходят!!

— Петровна, ради Бога, ты знаешь что-нибудь!.. скажи мне все, что знаешь... Какие это лошади, откуда? Откуда это идет этот подземный ход? как пройти туда? Я не знала, что у нас под домом ход сделан...

— Сударушка, бесталанная ты моя, мало ли

ты чего не знаешь, что у нас тут есть и что у нас делается!

Ганнуся схватилась за сердце: так оно у нее стучалось.

«Ну вот, вот тайна открывается!»

Ужас охватил ее, а Петровна продолжала:

— Пора узнать, пора узнать, пришло время... все расскажу, все покажу... потерпи малость...

В ее голосе звучала особенная торжественность, которая сразу показывала Ганнусе, что эта старуха действительно все знает.

— Так не томи же, говори... показывай. Силушки моей нету, измаялась я. Давно уж чуяло мое сердце недоброе что-то, а что такое — невдогад мне... не понимаю! Не томи же, говори скорей!!

— Пожди малость — все узнаешь! — упрямо твердила старуха. — Бедная ты, горемычная! Да скажи ты мне одно, сударушка, можешь ли ты до времени таиться, что бы ни услышала, что бы ни увидала? можешь ли сдержать себя, не пикнуть, глазом не сморгнуть: есть ли в тебе силушка?

— Есть, Петровна, есть! — прошептала она,

и почувствовала, что, точно, хватит у нее сил молчать до времени, не пикнуть, глазом не моргнуть, хоть бы ад сам вдруг разверзся перед нею.

Она схватила Петровну за руку и повлекла ее за собой в сторону от большой аллеи, по узкой дорожке. Вот перед ними в темноте густых кустов деревянная скамейка; графиня опустилась на эту скамейку, усадила рядом с собою старуху и, все не выпуская руки ее, глухим голосом шепнула ей:

— Говори, здесь никто не услышит нас.

# IX

— Ох, матушка! ох, сударыня! — начала старуха. — Много греха, много окаянства, как еще гром небесный не разразился, как молния Божья не убила злодея!.. Жаль мне тебя, голубушка; долго молчала, а вот и не могу, будто велит кто все тебе поведать... Страшно оно, да крепись, Бог не без милости. Слушай, бесталанная, граф-то твой... любишь ты его, знаю, что любишь, а он тебя обманывает... Он злой человек, страшный человек, всю жизнь недобрыми делами, разбоем да душегубством занимается. Кони-то, — те, что в Дону купались, — ворованные кони, их то и дело ночью порой его разбойники пригоняют, выдержат в подземелье, потом тихомолком лесом угоняют подальше да и продадут на стороне... Я-то все знаю, все выведала, про все их разбои слыхала... Не одних коней крадут, — по дорогам грабят казну чужую, вещи дорогая с собою привозят...

Ганнуся сжала голову руками.

«Так вот его дела!.. Вот куда он уезжает!.. Боже мой, его и теперь нет дома... он и те-

перь, может быть, гденибудь на дороге грабить... Разбойник... он разбойник!..»

— Где он теперь... где?! — бессознательно проговорила она. «Да нет, не может того быть, — выдумала все злая старуха!..»

— Не верю я тебе, не верю, — вдруг крикнула Ганнуся, отстраняясь от Петровны, и потом кинулась опять к ней, схватила ее за старые, костлявые плечи и стала трясти изо всей силы. — Не верю, говори сейчас, что ты меня обманула... что налгала, что все сама выдумала!.. Разве он может быть разбойником? Зачем ему быть разбойником — он граф, он богат...

Но, в то же время, сердце ее чуяло, что тут нет обмана, что старуха говорит правду. Она выпустила ее плечи, бессознательно упала на скамейку и залилась слезами.

— Солгала я!.. ох, кабы солгала! — проговорила Петровна, оправляясь после неожиданного порыва Ганнуси. — Сама увидишь, каков он. Ты думаешь, он нынче-то уехал и далеко где-нибудь теперь?!.. Ан нет — недалече. Хочешь, я тебе покажу его...

— Веди же, веди скорее!!

— Ладно, сударыня, только сдержись, не крикни, не то все пропало, даром только и себя и меня загубишь, а пути из того никакого не выйдет... на другое надо тебе поберечь себя...

— Петровна, я, ведь, сказала уже, что силы у меня хватить... Веди ради Бога... Только дай я оправлюсь...

Она замолчала и сидела несколько мгновений неподвижная. Она уже не плакала, сердце у нее как будто застыло. Она так давно ждала чего-нибудь ужасного, ждала разъяснения томившей ее тайны. Вот разъяснение явилось — и поразило ее, как будто она никогда не ждала ничего, как будто, чего она ждала, не должно было относиться к нему, ее мужу.

И вспомнилось ей вдруг первое время их знакомства, тот страх, который она испытывала к этому человеку. Не напрасен был тот страх: сердце правду чуяло, чуяло свою горькую долю.

Но куда же зовет ее старуха, что она ей покажет?! Она собрала все свои силы, поднялась совсем даже спокойная с виду и проговорила:

— Куда идти? веди меня, веди скорее... ты видишь, я спокойна!

Петровна пошла перед нею, направляясь в глубину парка. Через несколько минут они дошли до каменной ограды.

— Куда же теперь? — в изумлении спросила Ганнуся. — Здесь нет прохода!

— Есть проход, — шепнула старуха, — только ты, сударыня, тут никогда не бывала.

Она раздвинула руками густые ветки, и они стали пробираться вдоль ограды.

По временам старуха останавливалась, прислушивалась и пробиралась дальше. Ганнуся шла по пятам за нею. Вдруг старуха остановилась.

— Здесь, — сказала она, — вот дверца! Видишь ты... ее и не видно и всегда была заперта, а нынче и запереть позабыли, третью ночь стоит отпертая... я уж выследила...

И, говоря это, старуха дернула своими дрожащими руками за маленькую скобку. Открылась узенькая, покрашенная под камень дверца. Старушка прошла в нее. Ганнуся последовала за нею. Она уже не задавала себе никаких вопросов. Она ни о чем не думала,

ничего не чувствовала. Все в ней как-будто остановилось. Теперь единственное старание ее было идти как можно осторожнее, как можно меньше шуметь; она вся превратилась в слух и зрение.

Оне очутились в каком-то узком, темном проходе между двумя каменными стенами. Высоко над головою мигали звезды, луна озаряла только самую верхушку белых стен, а внизу было совсем темно и сыро. Они прошли шагов триста. Петровна остановилась, шепнула едва слышно:

— Тише, притаись! — и показала рукой перед собою.

Ганнуся взгляделась: расстояние между двумя стенами расширилось, проход оканчивался небольшим крылечком, ведущим в одноэтажное каменное здание. Оставив крылечко вправо, можно было пройти дальше, между стеной, которая шла вокруг всего парка, и стеною этого здания. Тут был узенький проход, и в этот-то проход повела Петровна Ганнусю.

— Слушай!!

Ганнуся уже и без того слушала. Она слышала людской говор, раздававшийся из этого

неизвестного, никогда невиданного ею каменного домика. И видела она перед собою полосу света, ударявшую прямо в стену. Этот свет должен был идти из окна. Вот и окно. Затаив дыхание, Ганнуся мгновенно подкралась к нему и взглянула. Окно занавешено, но не плотно, из правого угла стекло выбито. Все видно, все слышно, все в двух шагах... Она не дышит, не шелохнется, смотрит в небольшую щель из-за занавески. Ей видна часть комнаты, ярко озаренная...

Вся эта комната убрана дорогими коврами, по стенам на полках расставлена массивная серебряная посуда. Но Ганнуся не замечала этого убранства; она не мигая глядела на другое: перед нею мелькали человеческие фигуры; она отчетливо могла рассмотреть все лица. Некоторые из этих лиц ей знакомы: она видела их там, в большом доме, у себя, за своим столом, — эти неведомые внезапно появлявшиеся и исчезающие приятели ее мужа. Но они не одни здесь. Вот перед нею мелькают женщины, молодые и красивые женщины... только в каком они виде!.. Какой стыд!.. Они пляшут, они поют...

И вот, — у нее почти остановилось сердце, — вот он, ее муж. Он мелькнул перед нею, обнявшись с красивой, громко смеявшейся женщиной. Да он ли это, полно?! Лицо красное, налитые кровью глаза... Он кричит что-то, еле на ногах держится. Да и все видно пьяны... Безобразная оргия в полном разгаре...

Ганнуся закрыла глаза, отшатнулась от окошка и, держась за стену, сама шатаясь, точно пьяная, направилась назад, по прежней дороге. Старуха осторожно пробиралась за нею. Они вышли, наконец, из узкого прохода.

Ганнуся позабыла о Петровне и, как безумная, кинулась сквозь кусты по дорожкам и тропинкам парка к дому. Она бежала, будто за нею гналась целая стая отвратительных привидений.

Но вдруг силы ее покинули, она со слабым криком упала на землю и потеряла сознание.

# Х

Не мало прошло времени, пока Ганнуся, очнувшись на сырой траве парка, собралась с силами и добрела до дому. Страшную ночь провела она, а на следующее утро поднялась с постели, на которой почти не смыкала глаз, совсем другою, совсем новою.

Она сама себя не узнавала. Несмотря на все тревоги и тоску, она все же до этого дня оставалась почти ребенком, существом, не знавшим жизни, у которого все еще было впереди: теперь это была женщина, у которой все назади осталось. Она чувствовала себя старой, уставшей. И жизнь, и все показалось ей таким ненужным, таким отвратительным.

Она пошла к своему ребенку, страстно прижалась к нему, облила его слезами. Малютка смешно улыбался ей, выставлял вперед губки и, что-то бормоча, тянулся к ней крохотными ручонками. Но он не вызвал в лице ее ответной улыбки, не заставил радостно дрогнуть материнское сердце. Она еще горьче заплакала, любуясь им; потом ее слезы вдруг остановились, — безмолвная тоска сда-

вила ей грудь, и она только шептала:

— Зачем ты родился, несчастный? Лучше бы тебе не родиться!

Прибежали дети, его дети; но она не нашла в себе для них ласки. Их сходство с ним заставило ее вздрогнуть. Она ушла из детских комнат и заперлась у себя в спальне. Но здесь ей было еще тяжелее, еще страшнее. Эта комната столько напоминала, и воспоминания были ужасны. Здесь все казалось насмешкой, жестокой, отвратительной насмешкой. Эти часы счастья, часы любви... это супружеское ложе. Все говорило о нем, о его ласках. Ведь, она любила его так безумно!.. но теперь, что в ней осталось? любви нет и следа, как-будто никогда и не бывало. Один ужас, одно отвращение, одна ненависть.

Она оказалась не из тех женщин, которых можно безнаказанно оскорблять и обманывать. Как беззаветно внезапно она полюбила его, так же внезапно и возненавидела. И потом она чувствовала, что он разом разбил ее душу. Как она теперь с ним встретится, как на него взглянет!?

Но, по счастью, он не возвращался. Она

весь день ходила как в тумане. Она ждала вечера, ждала Петровны; знала, что та ее непременно будет дожидаться, там в парке, на вчерашней скамейке.

И едва зашло солнце, едва тихий вечер наложил тени на вековые деревья, она сошла с высокой террасы и углубилась в древесную чащу. Она шла спокойная, холодная; в лице ее не было ни кровинки, даже глаза ее, горячие южные глаза, вдруг померкли под густыми черными ресницами.

Она казалась привидением, призраком, вставшим из гроба. Да и в действительности, ведь, она умерла: жизни нет и не будет больше...

Она дошла до знакомой скамейки, и не ошиблась: Петровна уже там сидит, ее дожидается.

Но если Ганнуся казалась мертвой, странная полумертвая старуха вдруг как будто помолодела, глаза так и горят, дряхлости как не бывало.

Едва Ганнуся подошла к ней, старуха вскочила со скамейки и кинулась ей в ноги.

— Матушка, сударыня! — заговорила она

прерывающимся голосом, и слезы дрожали в этом голосе, и слезы текли по дряблым щекам ее. — Прости ты меня, растравила я твою душу, погубила твою молодость! Уж и плакала я, и Господу Богу молилась, думала, может быть, мне не след было все тебе рассказывать да показывать... Прожила бы ты ничего не ведая, прожила бы в спокойствии. Думаю я это так, а мне будто кто и шепчет: «Нет, надо так было, непременно надо!..»

— Да, надо, — ответила ей Ганнуса. — И одно ты дурно сделала, что не открылась мне раньше. Зачем ты раньше не открылась; ведь, ты знала, все это и прежде было? Зачем же ты не сказала мне, как только я сюда приехала?

— Зачем не сказала?! Да как же сказать было? Выслушай ты меня, сударыня. Вот я стара и всю жизнь прожила на графской службе, еще матушку их, покойницу, царствие ей небесное, вынянчила, их всех, извергов, вынянчила. Многого я на своем веку навиделась... В Питере жила, так чего-чего там тоже не было, а все же николи не думала, что на старости лет такие грехи придется увидеть... Здесь-то я, в Высоком, лет пять как живу, а до-

прежь того жила у старшего его брата, у Николая Петровича. Злодей он тоже и разбойник, и нашего с пути сбил попервоначалу. Ведь, это ты вот, может, ничего не знаешь, ничего не слыхала, а на сотни верст спроси, кого хочешь, про Николая Петровича, всякий тебе скажет, что разбойник. Он воровством и душегубством промышляет, он уже не скрывается, никто с ним ничего поделать не может: все его боятся. Тут хоть, по крайности, тихо да с опаской, а он все открыто. В доме срамоты не оберешься, на моих глазах что было!.. Невтерпеж мне стало глядеть, взмолилась я графу Михаилу Петровичу: «Возьми, мол, твою мамку, к себе в Высокое, за твоими детками ходить буду, твоей графинюшке угождать стану!» Ну, и взял он меня, и попала я из одного омута в другой...

Ганнуса слушала старуху, не прерывая ее, но и безучастно.

Только вдруг она несколько оживилась.

— Петровна, скажи мне про первую жену его... Знала ли она все? Отчего умерла она, бедная? С горя, видно? Говори же!..

— О ней-то, сударыня, и я пришла гово-

речь с тобою, — ответила старуха каким-то совсем новым и странным голосом. — Про нее, горемычную, тебе и знать надо...

# XI

Старуха обошла вокруг скамейки, заглянула за кусты, чутко прислушалась на все стороны. Но все было тихо, она не могла расслышать никакого подозрительного звука, только высоко в древесных ветках время от времени вздрагивала спросонья какая-то птица и тихо шуршали задетые ее крыльями листья.

Ганнуся сидела не шевелясь ни одним членом, опустив руки на колени, уныло склонив голову, будто мраморное изваяние. Старуха снова подошла к ней, присела рядом с нею и начала шептать почти на ухо:

— Слушай, матушка, — вот как приехала я в Высокое, ажно душа во мне встрепенулась от радости: графиня молодая, красавица, да добрая и ласковая; деточки словно ангельчики. Меня, старуху, даром, что раба я и старая да глупая, а полюбила сразу как родную, всякую ласку мне оказывала. Ну, и я в ней души не чаяла, только о том и была моя забота, как бы угодить ей, да лучше присмотреть за деточками. Радовалась я и на графа, думала: ну

как с такой женой добрым человеком не сделаться. И все-то на первых порах казалось мне у них тихо да гладко. Только не надолго: не пробыла я здесь и двух месяцев, как стала замечать то то, то другое. Графинюшка иной раз вся в слезах к деточкам выйдет, хоть и пробует скрывать свое горе, свои слезы, да не может. Я к ней. Матушка, говорю я, золотая моя, о чем плачешь, поведай мне свое горе, будь милостива! Крепилась она, крепилась, да и поведала: «Как мне, Петровна, не плакать, как не горевать. Шла я замуж, думала счастливее меня нет на свете, жила первое время как в раю, — да не надолго того райского житья хватило»...

«Тоже, что и со мною! — подумала Ганнуся. — Не я первая; но разве от этого легче?! Одна погибла, так другую погубить надо!..»

Петровна продолжала:

— Да в чем, спрашиваю, горе твое? кажись, у нас ладно, вон, вишь, деточки-то какие здоровые, славные; аль муженек чем обидел? «Ах, говорит, кабы обидел раз, я бы его простила, и другой, и третий раз простила бы, а, ведь, он всегда, кажинный день обижает.

Прежде для него лучше да краше меня никого на свете не было, — теперь все не ладно. Одна я про то знаю, что выносить мне приходится! Опостыла я ему, Петровна!»

...Как сказала она мне это, так у меня сердце и упало. Гляжу я на нее, писаная красавица, ровно лебедь белая, кабы про другого сказала, не поверила бы, а его знаю, все они таковы! Потешился вволю да и прочь пошел: ему нового надобно. Ну, вот призналась это она мне, вырвалось у нее то слово ненароком, а потом и замечала, даже будто совестно ей и глядеть на меня. Придет если, так притворяется веселой, с деточками играет. Вижу я все это, а заговорить уж и не смею. Только день ото дня хуже у нас становится. Граф, ровно как вот и теперь, с путными людьми не знается, всех от дома отвадил. Наезжают к нему озорники только да разбойники, и с ними он из дома на долгое время пропадает. Срамоту эту завел, комедианток, и графини совсем перестал стыдиться, даже не скрывается, ее же, бедную, смотреть эту мерзость заставляет, при ней пьянствуют да разбойничают. Уж чего, она, сердечная ни делала, чтобы его урезо-

нить, — только никакого прока из того не вышло. Стали подниматься между ними свары; крик, бывало, идет такой по дому, что хоть святых вон выноси. Не раз заставляла я ее, горемычную, всю в синяках, избитую. Терпела, терпела, ради деток терпела, да и опять думала: может, это он временно так, а после и обрассудится. Только, видит, наконец, что все хуже и хуже; думала она, думала и решилась, говорить ему: «Отпусти ты меня, ради Бога, с детками в Питер к родным, а сам делай здесь, что хочешь, — я тебе мешать не стану». — «Не отпущу! — это он кричит, — ты там всем наговоришь на меня, срамить меня учнешь... и чтобы я тебя отпустил! Николи не отпущу». Она ему клянется всеми святыми: «Молчать, мол, стану, никому слова не пророню, что прикажешь, то и говорить буду — зачем отсюда уехала». — «Пустое, пустое, не отпущу!» — На том стал и ни с места!

— Писать она думала своим сродственникам, так он письмецо-то перехватил, а мужика, с которым она письмецо в город отослать надумала, выпороли на конюшне, да так, что он, бедный, и пошевелиться не мог, дней че-

рез пять, не то шесть, Богу душу отдал. Приставил он к ней людишек своих: следом за ней по пятам ходят, глаз не спускают, о каждом ее шаге, о каждом слове ему докладывают... И такое под конец пошло, что и рассказывать негоже...

— Боже мой! — отчаянно проговорила Ганнуся. — И на таких людей ни суда, ни правды?! Как же умерла она, несчастная? Своей ли смертью, от болезни какой, или, пожалуй, он убил ее? Все говори мне, говори правду!

— Кто умер? — еще тише, еще таинственнее зашептала Петровна. — Графинюшка-то жива, она, слышь ты, жива-живехонька, по сей день жива.

Ганнуся вскочила со скамейки, как сумасшедшая.

— Что ты! как жива!? Очнись, не морочь меня... Кто жив?!

— Графинюшка жива, как перед Истинным! вот-ти Христос! Да разве я шутки ради говорю с тобою. Жива она, горемычная... да лучше было бы, кабы мертва была!

Ганнуся схватилась за голову, глядела остановившимися страшными глазами на

Петровну. Ей казалось, что она с ума сходит. Она ничего не могла сообразить.

— Как жива? Что же это? Нет, такого не бывает? Где же она?!

— Здесь, матушка, в подземелье, в темнице кромешной, вот уже сколько времени света Божьего не видит.

Ганнуся отшатнулась от страха, в негодовании.

— Лжешь ты, старая ведьма, издеваешься надо мною... морочишь! И чего я, глупая, тебя слушаю!?

Дрожа всем телом, она кинулась прочь от злобной ведьмы. Но старуха за нею, догнала ее, схватила за платье, не пускает.

— Куда ты, родимая, куда? Остановись, дослушай! Покажу я тебе ее, хоть и знаю, что тут моя гибель. Обещался он, что коли я одно слово вымолвлю, тут же велит меня запятать до смерти, и так сделает. Да что мне? не втерпеж уже, да и умереть пора, так или иначе. Может, за лютую смерть такую Господь грехи помилует. Покажу я тебе ее, проберемся мы к ней, пожди только малость.

## XII

Ганнуся машинально опять подошла к скамейке, опустилась на нее и долго оставалась неподвижной. Она уже пережила самое страшное потрясение и не могла ожидать нового. Она полагала, что ей придется услышать в этот вечер от Петровны многое. Приготовилась к рассказам о всевозможных преступлениях, совершенных и совершаемых ее мужем, но не могла ожидать того, что теперь услышала.

Жива! Но, ведь, это невозможно! А между тем старухе нельзя не верить.

Бедная Ганнуся долго боролась, долго искала выхода. Сначала ей казалось, что она просто не понимает того, что говорит ей Петровна; но она должна была покинуть эту спасительную мысль, и тотчас же ухватилась за другую.

Ночь темна, как-то странно вокруг, как-то необычно светит луна, и все будто новое, особенное. Да и Петровна совсем не та Петровна, которую она всегда знала: та дряхлая старуха, а эта вон какая живая, какая бодрая, как гово-

рит, как в темноте блестят глаза ее. Конечно, это сон и нет ничего такого, ни этой ночи, ни луны, ни этих странных деревьев, ни Петровны, все только грезится!.. Боже, нет, это не сон!

Ганнуся хватала себя руками, хватала Петровну, и должна была убедиться, что не спит, не грезит, что явь, самая действительная, самая неумолимая перед нею. Но она все же еще не сдавалась, она вглядывалась в Петровну.

Да, она не шутит, она думает сама, что говорит правду, но ей самой это только так представляется, она сошла с ума, бедная старуха! Однако же, вот, ведь, и вчера можно было почесть ее за безумную, а между тем она тотчас же доказала ужасную истину слов своих!

— Петровна! — наконец, отчаянным голосом крикнула Ганнуся. — Так что же это ты мне не рассказала всех этих ужасов, когда я приехала? как могла ты это скрывать от меня?

Старуха задрожала и повалилась в ноги перед нею.

— Матушка, горемычная моя, чувствую я всю мою вину перед тобою. Грех, тяжкий грех взяла на душу, и все деточек неповинных жалеючи и ее, графинюшку, жалеючи! Ведь, он что мне сказал, я сдуру-то тогда в ноги ему кинулась, молила его. А он мне в ответ: «Нишкни, говорит, старая! Коли слово единое от тебя еще услышу, коли ты кому ни на есть заикнешься про что, — так, право, я, право, всех этих щенят передавлю». И вот, как перед Истинным, мог он, мог это сделать!

— Господи! — простонала Ганнуса. — Да за что же мне все это? За что так надругались надо мною? За что погубили?

— Матушка, болезная моя, — шептала Петровна, — и меня-то ты истомила. Как приехала ты тогда, думаю: какую он еще там привез... и взглянуть-то на тебя не хотелось за графинюшку. А как глянула — вижу ты ровно дитя — добрая да ласковая, ко всем приветливая. Смехом заливаешься, деточек ласкаешь, на него так смотришь любовно, думаешь на жизнь счастливую да радостную приехала. Так и упало мое сердце, сказать ничего не смею. Графинею, графинею тебя величают, я

то знаю, что графинюшка наша в подвале за замками, ты... какая же ты графиня?! — ты полюбовница его, разбойника, не графиня...

Ганнуся дико вскрикнула и онемела.

Петровна сказала правду. Но, несмотря на весь ужас этих неожиданных открытий, на известие о том, что первая жена графа жива, до этого мгновения Ганнуся все же не думала об этой ужасной правде.

— Нет, нет! — задыхаясь выговорила она, наконец, отчаянно протягивая руки и будто что-то от себя отстраняя, — Нет, я все же жена его, повенчанная, законная жена, нас в церкви венчали... я жена его!..

— Да от живой жены разве венчают? — а коли обманно повенчают, так все одно, что и не было этого венчанья, — тихо проговорила Петровна.

Ганнуся упала на скамью в полном бессилии. Теперь она уже ясно понимала, что у нее отнято все, и ничего ей не осталось, что даже ребенок ее несчастный — незаконное дитя, без прав, без имени. Она схватилась за голову, будто стараясь припомнить что-то, что то сообразить, но ничего не могла придумать:

голова ее была пуста — ни одной мысли! Тупое отчаяние охватило ее, а сердце — то билось с такой никогда неизведанной болью, то вдруг замирало, будто совсем останавливаясь. Всю грудь ее жгло, как огнем, и в то же время ей было холодно, нестерпимо холодно.

— Где же она? Веди меня к ней! Покажи мне ее... графиню! — прошептала, наконец, Ганнуся.

— За замками в подвале бедная графинюшка, и не видит она света Божьего, не слышит она голоса человеческого. Молила я его, изверга, позволить мне носить ей пищу, — долго не соглашался, почитай полгода не видала я ее. Опять кинулась просить его — дозволил, только клятву страшную взял с меня, да наказал одному из своих разбойников провожать меня, чтобы я не засиживалась. И минуточки не дают побыть с нею. Да что — вот уж теперича она, бедная, почитай что и не узнает меня, и на человека почти непохожа стала — разума лишилась...

— Веди меня к ней, я должна ее видеть! — хватая за плечи старуху, безумно повторяла Ганнуся. — Веди меня к ней! Пока сама не

увиджу, не поверю тебе, не может того быть, нет, она умерла, все про то знают!

— Все про то знают! А те, кто связанную ее, по рукам да по ногам, да с платком во рту, чтобы не кричала, понесли в подвал — те-то, небось, знают жива ли она или нет. А те, кто, прости Господи, в гроб-то вместо покойницы дохлую, смердящую собаку укладывали, те тоже, небось, знают, кого в том гробу похоронили!

— Веди меня к ней! — твердила Ганнуся. — Не верю, лжешь ты, старуха!

— И проведу, матушка, — проговорила Петровна. — Уж теперь чего же мне — проведу, и пусть он, злодей, казнит всех нас. Да, нет, сударушка, сдержи ты свое сердце, о Боге подумай, о младенце своем подумай; пожалей ты, коли себя не жалеешь, и ту безвинную душу, что в подвале за замками спрятана. Проведу я тебя тихомолком — крепись только, улучу время как одна пойду без разбойника, что за мною ходить приставлен, благо ленив он ныне стал, иной раз меня и одну отпускает. Погляди на нее, да удержи свое сердце, ободрись, сударушка...

И то, что Петровна не успела договорить, было уже ясно для Ганнуси. Внезапная решимость охватила ее, она вдруг позабыла все свои муки, весь ужас своего положения. Она поднялась со скамьи.

— Веди меня... погляжу на нее я... А потом, Петровна, если только не солгала ты, я должна вырваться отсюда, я убегу, я доберусь до города, я все раскрою... найду суд и правду!..

— Матушка, родная, дай-то Господи!.. Крепись только... А на заре выйди сюда опять на это же место, пожди меня... Может, я и устрою. На заре я пищу-то ей ношу, пожди меня тут до солнечного восхода. Не приду я — знай — тогда ждать надо.

С этими словами Петровна исчезла.

Ганнуса пошла домой. И уже не шаталась она со стороны в сторону, не чувствовала слабости, не чувствовала боли в сердце. Она думала только о своем решении, и в этом решении почерпала силу. Глядя на нее теперь, на ее спокойное застывшее лицо, никто не мог подумать, какие страшные минуты пережила она. Только в ней не осталось ничего от прежней Ганнуси; муж не узнал бы ее, если б

встретил, но его не было дома, он еще не возвращался.

# XIII

Темно и тихо; только издалека едва слышно доносится не то плеск, не то шорох; то волны донские ударяются о берег и рассыпаются белой пеной. Это почти единственный, но зато вечный, неизменный звук, который, то усиливаясь, то почти замирая, достигает до темного подземелья.

В яркий солнечный день в подземелье проникает слабый луч света из маленького оконца. Но прежде, чем дойти сюда, луч этот должен совершить большой путь: он спускается по цилиндрическому отверстию, проделанному в массивной каменной стене. Не будь этого отверстия — подземелье потонуло бы во мраке и в нем можно было бы задохнуться от почти полного отсутствия воздуха. И теперь здесь душно и сыро...

Темно и тихо... Но вот, в углу что-то шевельнулось; поднялась с легким стоном человеческая фигура и опять опустилась на свое ложе. И снова все тихо.

Но если осветить подземелье, изумленным глазам представится странная картина: в уг-

лу, у сырой стены, поставлена железная кровать, на кровати перина, подушки, шелковое стеганное одеяло; рядом, на широком кресле, брошена меховая женская шуба; стол, кувшин с водою, потом еще другое кресло, коврик у кровати. И все эти вещи — роскошные, дорогие, вынесенные из богатых верхних покоев; но в каком они виде?! Все запылено, загрязнено, белье давным-давно не переменялось на кровати. И на этом грязном белье лежит, вытянувшись своими иссохшими членами, существо человеческое, женщина, одетая в какое-то подобие когда-то богатого шелкового платья, от которого остались теперь только одни лохмотья. Длинные русые волосы не чесаны, не заплетены в косы, беспорядочно разметались по грязной подушке. Лицо женщины, зеленовато-бледное, осунулось, и трудно в нем уже заметить следы прежней, недавней красоты и молодости.

А между тем, года три тому назад, эта женщина была молодой красавицей, сильной и здоровой, у которой во всю щеку играл румянец, прекрасные глаза которой светились умом и добротой...

Эта женщина — похороненная торжественным образом, всеми позабытая графиня Девиер.

Не солгала Петровна. Она жива, если только можно назвать жизнью ее теперешнее существование. Она жива, хотя смерть давно борется с ее крепкой, здоровой натурой: победа смерти, может быть, уже близка, но все же еще не совершилась.

Сколько раз несчастная графиня звала смерть; сколько раз молила Бога сжалиться над нею и послать ей успокоение. Но теперь уже давно она перестала молиться и звать смерть. Давно она проводит дни и ночи без мыслей, без чувств, без всякого сознания.

Редко приходит она в себя; тогда все снова проясняется перед нею, снова отчаяние охватывает ее и она бьется о каменные стены своей темницы, рыдает и проклиная... Но проклятья скоро смолкают, она делает над собою страшное усилие, начинает молиться и незаметно, среди этой молитвы, нападает на нее забытье. И опять она ходит, не замечая окружающего, садится или ложится и говорит сама с собою, а о чем, того не знает.

Она чувствует только холод и голод. Когда ей холодно, она надевает свою шубу; когда голодна, слушает, чутко прислушивается... и вот раздаются шаги, глухо повторяясь по коридорам... ближе, ближе... щелкает замок, со скрипом отворяется дверь, входит Петровна, приносит ей пищу. Она ест жадно и поспешно, а потом, насытись, или ложится и засыпает, или говорит опять сама с собою и уж не замечает присутствия Петровны, не слышит ее вопросов, не понимает ее, не видит, как Петровна иной раз переменяет белье на ее кровати, как иной раз своими дрожащими, старческими руками причесывает ей голову.

При наступлении осени Петровна, в сопровождении молчаливого и мрачного человека, переводит графиню в другое подземелье, где есть печка, которую этот же мрачный, молчаливый человек обязан топить, чтобы графине не было холодно. Но он часто забывает свою обязанность, и холод и сырость насквозь пронизывают несчастную, и она кутается в свою шубу.

Проходят дни и ночи, недели, месяцы, год, другой, третий, а графиня все жива, только

совсем высохла, только совсем потеряла свой прежний образ. Она — скелет, обтянутый кожей, призрак, появление которого способно испугать самого храброго человека.

Но и среди этих перемежающихся порывов отчаяния, безумия и забвения, все же иной раз мелькают для графини минуты и даже часы счастья. Случается, что по долгу сидит она неподвижно на своей грязной кровати, устремленные во мглу глаза ее блестят, на сухих, увядших губах мелькает улыбка. Она позабыла весь ужас своего существования, всю безнадежность. Она всецело перенеслась в прошлое и живет им. Наяву ей снятся светлые дни, ей чудится, что прошлое снова вернулось. Она молода, здорова, счастлива, окружена родными, окружена шумом и блеском столичной жизни. Ей слышатся веселые звуки музыки. Перед нею мелькают нарядные кавалеры и дамы, со всех сторон раздается гул веселящейся толпы.

Вот склоняется перед нею молодой красавец, приглашая ее на танец. Она протягивает ему руку, выступает вперед. Веселые звуки, то замедляясь, удаляясь будто, то вдруг прибли-

жаясь, захватывают ее и она грациозно повертывается и вправо и влево, машинально выделывает хитрые па и поклоны менуэта.

Вот над самым почти ее ухом раздается голос... Одно за другим прямо в сердце ей вливаются дорогие слова, от которых так ярко вспыхивают ее щеки. И сердце сладко замирает. То слова любви, первые слова любви, обещающей еще неизведанное счастье.

Как непохожим на всех остальных кажется ей человек этот, как он выше всех, всех умнее и краше, и как она в него верит!..

Он становится ее женихом, ее мужем. Она вспоминает свое первое счастливое время, рождение первого ребенка, вспоминает все, что было до того самого дня, когда ужасная действительность открылась перед нею во всем своем безобразии; когда не оставалось уже никаких сомнений. Но она не хочет вспоминать и переживать снова этих страшных дней, вместе с которыми ушли ее счастье, ее молодость. Она гонит от себя новый, ужасный, отвратительный образ, который заменил собою милого и любимого человека. Она не хочет, знать его. Перед нею не он, каким

пришлось узнать его впоследствии...

И сидит она, несчастная, заживо погребенная, и ее бледные губы шепчут слова любви, нежно шепчут имя злодея, ее погубившего.

Но проходят минуты очарования, исчезают, рассыпаются призраки прошлого... Свет сменяется тьмою... Графиня вздрагивает всем своим иссохшим телом и, после этих минут счастья, еще ужаснее сознание действительности, еще невыносимее безвыходное отчаяние...

«Дети! дети!» — стонет она, ломая руки.

Безумие начинает одолевать ее и спутывает ей мысли.

## XIV

Несчастливая графиня очнулась от тяжелого забытья. Она открыла глаза и безучастно взглянула на привычную, уже давно переставшую ужасать ее обстановку темницы. Слабый свет, проникавший в небольшое отверстие посреди сводчатого низкого потолка, известил ее, что там, в далеком от нее мире, с которым она давно и навеки потеряла всякую связь, кончилась ночь, что там начался день, быть может, ясный, солнечный день. Но ей было все равно: ночь ли, день ли.

Она приподнялась со своей постели, спустила на старый, пыльный ковер исхудалые ноги. Ей стало холодно, и она снова улеглась, закутываясь в одеяло. Она была голодна: ей хотелось пить, только она вряд ли сознавала это.

Гулкие шаги раздались в отдалении, потом стали приближаться. Щелкнул замок у двери, дверь приотворилась и на пороге душевой кельи показалась фигура старухи.

Графиня не шевельнулась. Она знала, что это Петровна, которая каждое утро приносит

ла ей пищу. Иногда она узнавала ее, иногда нет. Прежде, когда узнавала, то радовалась ее появлению, кидалась ей навстречу, расспрашивала ее о детях; но в последнее время, хоть и узнает иной раз, но уж не радуется, ни о чем не расспрашивает. Узнает Петровну, а о детях забудет, не знает, что здесь по близости ее дети, что старуха, быть может, видала их недавно. Вспомнит про детей, но не узнает старуху, не видит, что она перед нею, не слышит того, что она говорит ей.

Но кто же это сегодня пришел вместе с Петровной? Вот у двери из-за старухи выглядывает другая человеческая фигура.

Графиня приподнялась, смотрит: женщина молодая, красивая; но с таким бледным лицом, как будто она не живой человек, а привидение. Только глаза черные так и горят, так и впились в нее, в графиню.

Ей стало страшно. Она отвернулась, но и отвернувшись она чувствовала этот невыносимый, ужасный взгляд.

И она взглянула снова. Она подумала, что ошиблась, что никого нет с Петровной. Но бледная женщина не исчезает, а беззвучно

приближается к ней.

Графиня вскочила с кровати и, почему-то дрожа всем телом, остановилась перед бледной женщиной.

— Кто это? Кто это? — шептала она.

И несколько мгновений стояли они друг перед другом, обе пораженные, обе дрожащие.

Ганнуся хотела говорить — и не могла. Она только изо всех сил инстинктивно сдавливая руками сердце, которое шибко и мучительно билось в груди ее. Наконец, она произнесла, едва выговаривая слова, едва ворочая языком, стуча зубами:

— Кто вы? Ради Бога не обманывайте меня, скажите правду!..

Графиня расслышала ее вопрос, вопрос, который еще никто никогда не задавал ей. И она поняла этот вопрос, к ней вернулось сознание, и она ответила:

— Я — графиня Девиер...

Ганнуся схватилась за голову и пошатнулась.

— Поклянитесь мне Богом, что вы его законная жена, жена Михаила Девиера!..

— Так кто же я иначе?! — изумленно сказала графиня. — Зачем вы меня спрашиваете? Чего вам от меня надо? Зачем вы пришли сюда?..

Мысли ее снова начинали спутываться. Она вернулась к своей кровати, села на нее и опустила голову.

Ганнуся слабо вскрикнула. Петровна поспешила к ней и шепнула:

— Матушка, ради Создателя крепись... о ребеночке подумай!.. Поспешим, не то нас застанут, тогда все пропало!..

В эту минуту железная дверь, в которую вошли они, с шумом распахнулась и в темницу вбежал Девиер. Он остановился на мгновение, оглядел всех и, не произнося ни слова, со всего размаху, своим сильным кулаком, ударил по голове Петровну.

Та тихонько и как-то странно ахнула и повалилась на пол.

Графиня сидела на кровати, бессмысленно глядя перед собою и ничего не понимая.

Ганнуся даже не заметила, не видела как граф ударил Петровну, как та повалилась. Она видела только его страшное, искаженное

лицо. Она ступила к нему и задыхаясь, указывая на графиню, проговорила:

— Правда ли, что она — жена твоя?

Он стиснул зубы. Он хотел было броситься на нее, но вдруг остановился.

— Правда! — крикнул он.

— А я... я...

— А ты — моя любовница, которая мне надоела и которую за шпионство я проучу как следует!

Ганнуся кинулась было к двери, но он отстранил ее.

— Назад! — крикнул он. — Ты пришла познакомиться с этой женщиной... ну, и прекрасно, и оставайся теперь с нею...

Вдруг он замолчал. Несмотря на свое бешенство, несмотря на полумрак, царивший в подземелье, он увидал, что с Ганнусей делается что-то странное: одной рукой она держалась за сердце, другую простирала вперед, будто ища что-то перед собою...

Вот она покачнулась и со всего размаху грохнулась на пол.

— Пустое, очнешься! — проворчал Девиер, вышел из темницы и с проклятием запер за

собою дверь.

## XV

Но Ганнуся не очнулась. Когда через несколько часов, по приказу Девиера, двое из самых преданных ему разбойников его шайки вошли в темницу, они нашли в ней безумную графиню, сидевшую на полу перед двумя безжизненными телами. При входе их графиня отошла от трупов, легла на кровать и закуталась одеялом.

— Счастливые! — шептала она. — Им хорошо! Просила, просила... не хотят меня взять с собою!..

Петровна не вынесла удара рассвирепевшего Девиера, этот удар пришелся ей прямо по виску и уложил на месте дряхлую старуху. Ганнуся не вынесла пытки последних дней, и ее наболевшее сердце разбилось в ту самую минуту, когда ее начал покидать разум.

Через два дня в Высоком пышно справлялись похороны. На этот раз съехавшиеся соседи могли видеть лицо покойницы. В этом бледном страдальческом лице трудно было узнать красавицу Ганнусю; но все же это была она. Это ее длинные черные ресницы отте-

няли прозрачные, будто восковые щеки, это ее роскошные волосы чернелись из-под цветов и легкого газа...

— Умерла! и эту уморил... так тому и быть следовало!.. — шептали в толпе, окружавшей гроб.

Но каким-то образом, неизвестно откуда, скоро по губернии начали распространяться слухи, что первая жена графа жива, что он держит ее под замками, в подземелье, и что Анна Григорьевна умерла от огорчения, узнав про это. Говорили, но никто не решался проверить этих слухов. Граф Михаил по-прежнему нагонял на всех страх, а сам никого не боялся.

Он продолжал свою преступную, разгульную жизнь и через три года, в 1780 году женился снова, на дочери майора, Марье Яковлевне Ревякиной.

Нам неизвестна жизнь и судьба этой третьей жены его, известно только, что от нее у него было четверо детей — сын и три дочери. Известно также, что и этот брак был незаконный, так как во время его совершения несчастная графиня все еще томила в своей

темнице. Смерть долго не приходила к ней на помощь. Она умерла только в самом конце 1786 года.

Ее смерть огласилась и тайна подземелья окончательно перестала быть тайной. Но общество не возвышало голоса, власти бездействовали, граф Михаил Девиер оставался на свободе, продолжая свои разбои. Все эти обстоятельства всплыли на поверхность только через долгие годы, когда его дети стали отстаивать законность своего рождения в виду жалоб, поданных в сенат и синод родственниками отца их.

Конец карьеры графа Михаила Девиера, по сохранившимся сведениям, носит на себе такой же легендарный характер, как и вся жизнь его. В последние годы XVIII века с ним случилась история, схожая с историей его брата Николая, только последствия были иные.

Как-то раз обедал он у богатого помещика, жившего верст за сто от Высокого. Он пленился великолепной серебряной посудой, которую подавали за обедом и решил во что бы то ни стало завладеть ею. Он подкупил дворец-

кого, который украл для него эту посуду и явился с нею в Высокое.

Девьер обещал ему дать «вольную», показав его своим крепостным, но, конечно, не намерен был исполнить этого. Получив посуду, он пожелал избавиться от опасного свидетеля. Он удержал его у себя, обращался с ним ласково, оказывал ему знаки доверия и, когда наступила зима и Дон покрылся льдом, дал ему какое-то поручение в уездный город.

Между тем кучеру было приказано дорогою убить его, а труп бросить в прорубь. Так все и совершилось. Но труп как-то выплыл, его вытащили, узнали дворецкого и в кармане его платья нашли зашитое в кожу собственноручное письмо Девьера, в котором он уговаривал его украсть посуду и обещал за это пристанище, деньги и «вольную».

Обворованный помещик имел большие связи и решился возбудить дело. Девьеру приходилось плохо: он мог кончить ссылкой в Сибирь. Тогда он, не долго думая, повторил комедию, уж раз ему удавшуюся. Он, как и относительно первой жены своей, распустил весть о своей смерти, устроил свои похороны,

а сам преспокойно продолжал жить в Высоком, щедрыми подарками обеспечивая себе молчание и бездействие местных властей.

Несмотря на существующие документы и свидетельства современников, сразу даже не верится подобным историям, относящимся к нашему, сравнительно недавнему, прошлому. Поражают не изверги, вроде Девиеров — такие изверги найдутся везде и во все времена — поражает состояние общества, при котором могут заведомо, открыто оставаться безнаказанными самые страшные злодеяния, и не знаешь, кто отвратительнее: безнаказанный ли изверг, или общество, которое его покрывало и держало в среде своей из-за самых позорных побуждений.

Но зачем поражаться этими былями нашего прошлого?! Стоит только попристальнее поглядеть вокруг себя, чтобы ясно увидеть, что общество развивается и улучшается крайне медленно, что под новой вылощенной оболочкой скрывается та же преступная слабость, те же позорные инстинкты.

1883 г.